ТК 793
К-63

Комсомольские
вечера

EXP

TK 793 / K-63

793 К 63
374/К-62
Тамбовская областная библиотека
имени А. С. Пушкина

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Тамбовский Губернский Комитет Российского Коммунистического Союза Молодежи.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА.

Сборник материалов (рассказов, стихов, песен и пьес), необходимых при устройстве союзного вечера.

КНИГА ПЕРВАЯ.

ТАМБОВ
ИЗДАНИЕ ГУБКОМА РКСМ.
— 1922 —

408376

37
808:905 191.7
К-62
793
К 63
374
К 63
408356
КНИГОХРАНИЛИЩЕ

Пролетарии всех стран, соединяйтесь!

Тамбовский Губернский Комитет Российского Коммунистического Союза Молодежи.

КОМСОМОЛЬСКИЕ ВЕЧЕРА.

Сборник материалов (рассказов, стихов и песен) и необходимых при устройстве союзного вечера

Тамбовская областная библиотека ОСНОВНОЙ ФОНД имени А. С. Пушкина
Тамбовская Областная библиотека имени А. С. Пушкина

[illegible]

[illegible]

„Комсомольские вечера“.

Настоящий сборник—почти первая попытка дать материал для вечеров как ячейковых, так и каждого комсомольца в отдельности. Нужда в таких сборниках чрезвычайно велика как в городе, так и в деревне.

В настоящий момент центр внимания работников Союза должен быть устремлен на разработку и применение новых методов, влияющих больше на чувства молодежи и способствующих коммунистической обработке их. Период, когда революция захватывала своей картинностью, красочностью, героизмом—прошел. Многие и не видали отчаянной, захватывающей, увлекающей вперед массы—гражданской войны. Обстановка сейчас сравнительно мирная, мещанская, обывательская. Сейчас при мелкой повседневной будничной кропотливой работе—больше всего необходимо поставить дело так, чтоб воспитательная работа удовлетворяла запросам, потребностям молодежи; больше всего нужны знания, нужна чуткость, понимание молодежи.

И при организации воспитания, ясно, что остро встает вопрос о материалах. Мы уже начали вырабатывать, использовывать старое, издавать. Надо полагать, что дело расширится, особенно при условии, если будут средства. Их нужно будет добывать и на местах.

А пока за работу! Пусть вечером в избе-читальне или в городском клубе ребята-комсомольцы читают, вспоминая старое прошлое и на нем учась бороться.

Пусть «косма» поет комсомольские песни, пусть укрепляются наши традиции, пусть теснее, крепче будет наша железная

Пусть крепнет наша Тамбовская организация, испытавшая все «прелести» контр-революции, и потому горячо любящая Советскую власть и Коммунистическую партию! Пусть крепнет весь Комсомол, устойчивый оплот мировой революции.

За дело, товарищи!

Редколлегия Тамбовского Губкома РКСМ.

Что можно использовать при устройстве „комсомольских вечеров".

1) *«Революционный чтец-декламатор»*. Изд. Госиздата. Ростов на Дону. 1922 г.
2) *«Песни Красной молодежи»*. Изд. Губкоммола. Тамбов. 1920 г.
3) *«Песни молодой гвардии»*. Изд. ЦКРКСМ. Москва. 1922 г.
4) *«Молодая Гвардия»* журнал ЦКРКП и ЦКРКСМ. 1922 г.
5) *«Крокодил»* журнал. Приложение к «Рабочей Газете».
6) Рассказы *«Из прошлого»*, в журнале «Юный Коммунист».
7) Величкина. *«Перед рассветом»*. Сборник рев. стихов. Изд. «Коммунист». 1919 г.

Ив. [illegible]

ГРАНЬ

Повесть.

I.

[illegible]
[illegible]

Лет тридцать тому назад старый барин, Николай Михайлович, упокоился в прах, и его имение, Заболотинка, пошло с молотка. Купил его купец первой гильдии Василий Маркелыч Дроздов.

Василий Маркелыч приехал из города с инженером, прожил в Заболотинке с месяц времени, вставал на заре, ходил с инженером по Заболотинским лесам и по мшанникам, что-то измерял рулеткой, что-то высчитывал огрызком карандаша в записной книжке, потом уехал.

До весны не было слуха о Василии Маркелыче. Лесные мужики, заболотинцы, по-старому корчевали пни в барских лесах, гнали деготь и возили в город. Как и встарь, никто не мешал им заниматься своим исконным промыслом в лесах.

С весны начали возить по большаку из города кирпич, бочки с цементом, доски, железные балки. Возили до осени, потом сделали сторожку и наняли пастуха Мосея в сторожа. И стал жить Мосей со своей собакой Шариком в сторожке.

После Крещенья в Заболотинку приехали черкесы — шесть человек, — горбоносые, чумазые, с горячими глазами. Зимою их не слышно было — никого не трогали, но весною, когда заболотинцы принялись корчевать пни, черкесы стали гнать их из лесов.

Кругом Заболотинок были все леса да болота. Все деревни окрест — Заболотинка, Езерище, Малая и Большая Власьевки, да Пустошка — кормились гонкой дегтя. И вот пришел конец их стародавнему промыслу.

Пытались мужики поладить по-хорошему с черкесами. Да куда! Залопотали черкесы по-своему, выпучили глаза-угольки да вдруг как бросятся на народ и — давай крестить нагайками по чем попало. Петру Перфильеву в глаз угодили — окривел Петр.

Выбрали стариков от Заболотинок и от Малой и от Больш Власьевки, и от Пустошки, и от Езерища. Дали им такой нака кланяться купцу Дроздову в ноги и рассказать ему все, как ест так и так, не можем мы бросить дедовского промысла потому, что земля у нас нищая, гнилая, хлеб на ней сеять не гоже. Не бы нам прежде запрета кормиться пнями в барских лесах. Ныне ле отошли к тебе, и твои черкесы озорничают над народом. Будь бла годетелем, сними запрет, а мы платить согласны, сколько пол жишь. Пень — он тебе ни к чему, а нам без пня — смерть.

Старики разыскали в городе дом Дроздова. Каменный, в друса, в тупичке стоит, а тупичек тот обсажен липами в два ря

Василий Маркелыч Дроздов вышел к ним немедля. Сухоп гий, маленький, хлипкий, голова голая, как пятка, бородка гл кем, любовно расчесана — волосок к волоску, а глаза — не то сер не то синие, скорее и серые и синие вместе, переменчивые — и с ются, и колют. Заговорил Дроздов сладко, точно медом закапал.

— А, мужички деревенские! Здравствуйте, здравствуйт Что скажете, старики милые?

Самый старый, Иван Перфильев, низко поклонился Васил Маркелычу Дроздову и отвечал:

— Из Заболотья мы, со всей округи. Пришли к твоей мило насчет пней.

Семен Пустов из Пустошек сказал:

— Без пня нет нам пути-выхода. Отцы наши пнями жил мы ими кормимся. Деготь гоним.

Василий Маркелыч Дроздов поласкал их своими серо-сини глазами и закапал паточной речью:

— И-и, старики вы дорогие! Кому ведомы пути-выход Господу-богу! Ему! Вот вы полагаете, будто вам без пней и доро нет. А кто выше всех сидит? Господь-бог! Он! Он-то все пут видит. Пенек что? Пустое дело! Разве у бога один пни на свет А?

И пошел-пошел Василий Маркелыч Дроздов сыпать липки словами. Долго говорил — точно евангелие вычитывал.

Иван Перфильев не выдержал:

— Бог, бог! Что ты нам все про бога? Чай, не поп. Сам зна ешь — из бога дегтя не выкуришь.

Василий Маркелыч отскочил, закачал голой головою, замах руками:

— Грех! Грех! Что ты, что ты, старик про бога сказал?

— Ежели ты божественный такой, сдай нам пни. Что тебе в кольях? Будет и тебе прибыток, и богу заслуга, и нам спасенье.

Но Василий Маркелыч уже не слушал, закрестился мелко-мелко и спрятался за двери.

На улице ходоки забранили Перфильева:

— Почто ты ему про бога сказал, слова голова? Надо бы в ноги, авось уломали бы.

Долго бранили Перфильева и, наконец, порешили:

— Пойдем-ка, старики, выпьем. Горькая жизнь наша!

Прошла зима с вьюгами и заносами и опять весна засверкала. Оделись и ожили леса, оттаяли болота, зазвенели в них лягушки. Стояли звонкие золотые дни, серебряной сеткой ручьев заткались луга. На Пасху уже пропал снег; его белые лоскутья остались только в доличках, да в глухих лесных местах.

Всю весну и все лето рабочие-землекопы работали в заболотинской усадьбе: росли кирпичные заводские корпуса.

Ночью, после Покрова, бухнул набат. Со стороны усадьбы запылало небо, точно налилось свежей кровью. Ярче и выше становилось зарево и гуще чернели острые, как зубья пилы, верхушки леса.

Вся Заболотинка сбилась на околице и молча стояла, задрав головы к горячему небу. Со страхом смотрели на пожарные сполохи, на рыжие завитки дыма, слушали жаркий треск.

С завода прискакал черкес сгонять народ на пожар.

— Айда,—кричал он,—айда!—и указывал нагайкой на зарево.

Ответили ему улюлюканьем и свистом. Черкес загорелся, врезался в народ и стал хлестать нагайкой головы, плечи, спины.

— Бей черкесина, робя! Дуй сукина сына!—крикнул кто-то.

Толпа раздалась, вобрала в себя черкеса с лошадью, потом сомкнулась. На минуту совсем стихло —и вдруг пронесся вздох, потом охнула толпа, взревела. Черкес завертелся, замахал нагайкой, но десятки рук вцепились в него и сорвали его с лошади. Короткий хриплый крик потонул в тяжелом топоте, в глухом гуле, в свисте.

И сразу оборвалось. Народ отхлынул. На земле чернел бугорок. Лошадь без всадника и седла мирно пощипывала траву в двадцати шагах.

Вытянув шеи, стояли заболотинцы и боязливо глядели на черный колочек.

— Ое-споди! —вздохнул один заболотинец.

— Дел наделали!—сказал другой.

— Чего там!—зло выкрикнул Перфильев и нахабно выругался.—Тащи сюда веревку да камень. В болото это т..ло!

Спеленали веревками труп. привязали камень. понесли. В полуверсте, в гуще леса, была топь. Раскачали труп и бросили в болото. Зеленый кисель болота сочно чмокнул, лениво раздался и медленно всосал в себя черкеса. На том месте до утра всплывали мутно-зеленые пузыри...

— — —

С Василием Маркелычем Дроздовым понаехало из города начальство—толстый рыжебородый исправник: черный длинноносый. похожий на грача. следователь и другие. помельче.

Взяли Петра Перфильева. сторожа Мосея да стариков-ходоков. Привели их в барский кабинет. Василий Маркелыч выскочил навстречу:

— Что? Привели? Хорошо-о. православные. хорошо-с. Весьма! С керосином. со спичками. тайком. ночью. а? Кто видал? Кто слыхал? Бог! Бог! Он! О! О!

Дымом прокуренные. дегтем пропахшие. лесные мужики глядели тяжело и хмуро на начальство с ясными пуговицами, глядели на Василия Маркелча, егозившего вокруг, и на все отвечали:

— Мы не знам. Неизвестно нам. Темные мы.

Похожий на грача следователь воткнул свои острые глаза в Петра Перфильева и вдруг. как бы невзначай. бросил:

— Где черкес? Что ты с черкесом сделал?

— Я—а?!

Петр попятнулся: лицо его точно пылью покрылось.

— Я?

Да. ты. Ты-ы! Он тебе глаз вышиб. а ты... Куда ты его дел? Мы все знаем. Ты не запирайся—в остроге пропадешь.

— Почто меня—в острог? Я не причинен. —уже спокойно сказал Петр.

Бились с мужиками до полудня. Исправник потел, пил воду со льдом и вытирал белым платком красный затылок с тремя складками.

— Оставьте меня одного с ним. У меня средство есть, — сказал он.

Остался исправник один с Петром. Подошел, крякнул, размахнулся и ударил Петра кулаком в зубы.

— Ну-ка, ну, говори!

Петр сплюнул кровь, ничего не сказал.

— Мер-рза, говори! Говор... — задохнулся исправник и новым ударом сшиб Петра с ног.

Пузырилась кровавая пена на губах Петра. Он молчал и размазывал рукавом кровь по лицу.

— Вставай, каналья, жив-ва! — хрипел исправник, тыча лакированным сапогом Петра в зубы.

Весь в крови покорно встал Петр. Его единственный глаз горел красным огнем.

Опять бил его исправник, долго бил, до тех пор, пока устал. Тогда сел на стул и крикнул:

— Эй, сотский. Уведи эту собаку! Водки!

После обеда стражники согнали всю Заболотинку на барский двор. Пьяный и потный вышел на крыльцо исправник. Широко расставив ноги и пошатываясь, несвязно орал:

— Св-сволочь! Н-ф! Р-растак вашу веру! По... поджигатели! Н-н-н! Бунт-товать!! Р-рак-калии! На колени! Слышь, стражники! На колени их!

Стражники поставили всю Заболотинку на колени. До темна стояли на коленях все, седые старики, беременные женщины.

Поздно ночью совсем одуревший от водки исправник дал приказ:

— В нагайки всю сволочь!

Петра и Мосея увезли в город, в острог. Восемь месяцев сидели заболотинцы в остроге. Ничего от них не дознались начальство и к Пасхе выпустило их на волю.

Ваньте, внуку Ивана Перфильева, было тогда восемь лет. Матери своей не знал Ваньтя — умерла от родов. Когда отца посадили в острог, Ваньтя с дедом пошли в город.

Дед ходил к разному начальству. Много рук перецеловал дед. Припадал он к рыжей волосатой лапе исправника, к пахучей руке следователя, к сухонькой холодной руке Василия Марковича. Гоняли его дворники подзатыльниками; выпроваживали из присутственных мест матерной бранью городовые; ударил его больно

прикладом в грудь часовой у тюрьмы. Дед вытаскивал из-за па хи засаленные рублевки, платил, кланялся и прикладывался шершавым, и к волосатым, и к костлявым рукам.

Мал и глуп был тогда еще Ванькя и не видел глубоких бор которые провело горе на лбу деда, не понимал, что жизнь упр и без жалости перемалывала старое, и что под ее жернова попа Заболотника, дед, отец и сам он—Ванькя.

На том месте, где прежде был лес и где подымались дв смолокуров, к тому времени, когда выпустили из острога забол тинцев, выросла красная кирпичная труба и поднялись завод корпуса с двумя ровными ярусами окошек.

От завода и жизнь пошла в Заболотье по иному—тяжелее горьше. Порядились заболотинцы работать на Василия Мар ыча. За пятиалтынный в день иные корчевали пни, другие гна смолу и скипидар на заводе, третьи по колена в воде копали жи кий торф. Стали жить по-порядку, по часам: в шесть часов ут десятники гнали народ на работу, в восемь вечера—шабаш.

Со всей округи согнали народ приказчики Василия Мар ыча. Застонали заболотинские леса. Топоры прорубали в ни просеки; в просеках копошились, как муравьи, землекопы и ка менотесы—настилали шоссе. У болот выстроили бараки для то фяных рабочих.

Петр работал на торфянике. Был он крепко сложен, кост широк, русоволос, сероглаз. Но неправник отшиб ему легкие, стал Петр хиреть, а болото жрало его последнюю силу. Через по года Петр почернел, стал сутулиться. По ночам его кашель буди Ванькю.

— Почто кашляешь, отец?

— Села на грудь болотная роска, сынок.

— А ты не ходи на болото.

— Эх, мал ты, Ванькя. Теленочек! Кабы наша воля...

Засветив керосиновую коптилку, дед по ночам копошился своем углу, звеня медяками. Пятак к пятаку, алтын к алтын копил деньги и, кряхтя и шепча, пересчитывал их по ноча Днем дед плел ивовые и берестяные плетушки, собирал грибы ягоды и носил в базарные дни в город.

— Петра! —подымал он сына.

— Ну?

— Не нукай, а слушай. Старый я, разумею: тяжко тебе.

— О-ох!

— А ты вот что: терпи. Терпи, говорю... Летось, помнишь, были у нас ходоки из губернии?

— Помню.

— Про Сибирь баяли. Земли там — богатство. Ладно баяли ходоки-то.

— Ну?

— Ну и ну. Первое дело — деньги.

— То-то! Где они — деньги?

— Ничего, Петра. Ты, брат, терпи. Не сумлевайся. Будут деньги. Накоплю.

— На саван накопишь.

— Ат! С тобой каши не сваришь, — сердился дед и опять уходил в свой угол считать деньги.

Дед копил пятаки на сибирскую землю, а у Петра подошла своя дума — о Ванятке. Растет человек, а что с ним будет? Будет тоже пни корчевать или торф копать?

Кашель душил Петра. Грудь саднила. Выхаркивал алую мокроту. Дрожали колени от слабости, зеленело в глазах.

— Еще хоть бы год прожить, Ваньтю вырастить. Эх, не год — два нужно, — думал Петр, глядя на сына.

Как-то сказал дед Петру:

— Сухотка у тебя. Помрешь к осени.

Петр рассердился:

— Почто каркаешь! Сам помрешь. Ты про Ванятку подумай: мал парень.

Неожиданно заплакал Петр, потом стало стыдно и начал он ругаться тяжелой матерщиной.

В июле совсем стало худо Петру. Кашель заел, слабость свалила с ног и не работал он уже недели две.

Белый, с восковой желтизной на лбу и на висках, лежал он на лавке, накрытый тулупом.

— Ванятя, — кликнул он сына слабым и хриплым голосом.

Белая голова мальчика, ладившего что-то в углу, повернулась к нему:

— Чего?

— Подь сюда.

Он погладил влажной и желтой рукой сына по волосам и горько сказал:

— Ваня — Ванятка, почто не растешь? Беда с тобою. Зайчонок ты еще.

— Зайчонок? — Ванятка удивился, а потом рассмеялся: — Зайчонок! Вре-е! Мне девятый идет.

— В науку бы тебя, а ты не растешь, брат.

Дед заворчал в своем углу:

— Заладила сорока Якова — в науку. Жили мы без науки, проживем и дале. Наука для господ.

— Не про такую науку я, отец. В мастерство бы Ванятк пущай бы рукомесло знал. Какая наша жизнь на болотах?

— Никогда у нас этого не было, — ворчал дед. — Задумал тож

— Не было! Мало чего не было! — вспыхнул Петр и привста с лавки. — Кто мы? Болотная тля. Живем мы что ли? В боло гниём, в дыру гонтимся... А Ванятка... Ванятка мастеровым буде

Он схватился обеими руками за грудь и захлебнулся долг мучительным кашлем. Лицо напряглось и посинело, на губ выступила кровавая пена.

Не откашлявшись и переведя дух, он упрямо повторил:

— Мастеровым будешь...

Дед сердито трепал бересту и молчал.

—

На другой день Петр переміог себя и встал. Держась за стены вышел из избы и, шатаясь на слабых ногах, пошел к лавочнику.

Он долго стоял в лавке, боялся сказать — зачем пришел: говорил о своей болезни, о тяжкой жизни, о том, что некуда податься стало заболотинцам, кроме как в кабалу к Дроздову.

Черный лавочник Илья Семеныч, заросший бородою до самых глаз, пил чай с лимоном и отрыгивался.

— Хворость замучила. В грудях сушит, — жаловался Петр.

— Ты корешки кури. Корешки мокроту разбивают, — советовал Илья Семеныч.

Петр махнул рукой и уверенно сказал:

— Осенью беспременно умру.

Лавочник зевнул и налил себе новый стакан чаю.

— Так—так.

— Насчет Вани я. Ванятку хочу в люди отдать. Матки у него нет, а без меня кто его доглядит? Обдумался я про Ванятку, Семеныч, — нерешительно выговорил Петр.

Лавочник зорко посмотрел на Петра.

— Хочу Ванятку свезти в город. В городе есть у меня человечек один. Да не на чем ехать-то.

Лавочник вытащил размоченный ломоть лимона из стакана, ысосал его, сморщился и, подумав с минуту, с'ел корку.

Петр решился и заговорил горячо и быстро:

— Семеныч! Што я тебе попрошу... Благодетель! Сделай милость. Дай мне твою лошадь в город с'ездить с Ванькой. Хвор я лтя. Век не забуду.

Илья Семеныч звонко рассмеялся:

— Вот так ну! Тебе—лошадь? Почто я тебе ее дам? Кум мне?

— Век молиться за тебя буду.

— Век-то твой короток, дядя. Выдумал что—лошадь? У тебя портков своих нет, так я тебе лошадь доверю?

Петр упал в ноги лавочнику и в отчаянии забился лбом о пол:

— Вот, вот! И ноги кланяюсь, ноги твои целовать буду. Помилуй, Семеныч.

— Какой мне барыш от твоих поклонов?

— Проси с меня, чего хочешь, Семеныч.

— Чего с тебя просить-то? Сам с голым пузом ходишь. Уходи, некогда с тобой. Проваливай, дядя.

Лавочник взял его за костлявые плечи и повернул к дверям.

Опустив голову, Петр покорно вышел.

Однако, домой он пришел спокойный и даже повеселевший и стал увязывать хлеб в узелок.

— На работу, что-ль?—спросил дед.—Рано задумал. Отлежаться бы тебе еще.

— Мы пойдем с Ванькой в город,—ответил Петр.

— Что-о? Ты, може, выпил?

Петр молча сложил две Ванькины рубашонки и портки.

— До города сорок верст,—сказал дед.

— Дойдем.

Дед заплакал бессильными слезами. Утирая слезы ладонью, вытащил из тряпья платок с медяками, побренчал ими и протянул Петру деньги.

— Горе ты мое—эх! На, возьми. Копил-копил. Ни к чему оказывает... Бери, семь целковых тут.

И вглядываясь в восковое лицо Петра, дед повздыхал, почесал лысину и решил:

— Что мне одному оставаться? Сем-ка и я с вами. Право слово. Хвор ты—дойдешь ли? А уж я догляжу тебя с Ванькой.

Переобулся дед в новые лапти и взял палку и узелок. И в втроем—хворый, старый и малый—вышли в дорогу.

Под вечер тронулись они в дорогу, чтобы не маяться в дневную жару в пути.

За деревней, у кладбища, Петр остановился, поглядел тоскливыми глазами на кресты, на околицу и вдруг лег ничком н дорогу, лицом в пыль. Не то застонал, не то завыл, но тотчас перестал и, встав на ноги, сурово сказал сыну:

— Иван! Прощайся с Заболотникой. Перекрестись на церковь. Может, больше не увидишь ее.

Жадно и тоскливо он посмотрел кругом, точно сгреб глазам всю окрестность. Вот серая тесная толпа изб, словно семья грибо Вот, как растерянные по полям осколки зеркала, блестят болотца над ними курится сизый туман. Над зеленым лесом повис, точ серебряный ноготь, молодой месяц. Издалека, из Езериц, долета тихий, прозрачный колокольный звон.

— Буде! —махнул рукою Петр и, опираясь на палку, двнулся неверным шагом по большаку.

В городе, на постоялом, у Петра хлынула кровь горлом. Пет свезли в больницу. Деда с Ваньтей в палату не пустили. Де стоял у больничных ворот, охал и хлопал себя по бедрам; Ваньт сел на лавочке у ворот и заплакал.

Вышел больничный дворник в белом фартуке. Дед рассказа дворнику все обстоятельно: как исправник отбил Петру легки как Петра морили в остроге, как стал он сохнуть и плевать кровью. Рассказал дед и про себя, про сибирскую землю, про Ваньт и про то, как они втроем—хворый, старый и малый—пришли в город и как Петра свезли в больницу.

Дворник все досконально выслушал, ковыряя толстым пальцем в носу, а потом мрачно сказал:

— Уходи отселева. Не полагается здесь стоять, которые посторонние.

Дед не уходил. Дворник окончил ковырять в носу, вытер палец о фартук и неожиданно дал деду подзатыльник:

— Добром говорю —пошел отселева.

Дед потрогал свой затылок и, взяв Ваньтю за руку, пошел на постоялый двор.

На утро, чуть свет, дед с Ваньтей пошли в больницу. Синева еще стояла на улицах. По углам на козлах дремали извозчики. Сочными утренними голосами перуругивались дворники, подметавшие улицу. В больнице из щелей ставен желтелись полоски света.

Сели дед с Ваньтей на ступеньках дожидаться. Заспанный Ваньтя тер кулаками глаза и ежился от утреннего холода.

Под'ехала со звоном телега с жестяными жбанами с молоком. Вчерашний дворник в фартуке отпер ворота и телега в'ехала во двор. Дворник покосился на деда и запер ворота.

В полдень в больницу стали приходить люди. Дед с Ваньтей боязливо поднялись на крыльцо. В просторных чистых сенях с лавками у стен к ним подошла женщина в белом платочке.

— К кому вы? —спросила.

Дед поклонился ей в пояс:

— Барыня милая, к сыну мы, сын у нас тута.

— Как фамилия?

Дед не понял:

— Чего?

— Как звать твоего сына?

— Петром зовут. А прозвание Перфильев. Кривой он. Из Заболотинок мы.

— Сейчас. Посидите здесь.

На лавке сидело двое господ в шляпах, купчиха, мастеровой и поп. Дед сел на пол и задремал. Но скоро его кто-то тронул за плечо. Дед вскочил на ноги, испугался:

— Прости меня, старого, ради бога, —сказал он, кланяясь женщине в платочке и служителю в таком же фартуке, как на дворнике.

— Ты, старик, оставь мальчика тут. Тебе покажут сына.

— Барыня, мы вместях с Ваньтей. Чай, и ему охота. Ваньтего отца навестить.

Женщина замялась, потом махнула рукою.

— Ведите их.

Пошли по длинному коридору, а потом вниз по каменным переходам. Служитель открыл тяжелую дверь. Ударило сладковатым трупным запахом.

На полу, на каменных плитах, лежал Петр, совсем голый, вперед ногами. На большом пальце ноги была привязана круглая деревяшка, и на ней был выведен мелом номер. Из полуоткрытых

губ Петра блестел белый влажный оскал зубов. На лоб и на щеки легли синие пятна.

Дед дрогнул, попятился, потом снял шапку, перекрестился.

— Помер отец,—глухо сказал он Ваньте.

Дед с Ваньтей вернулись на постоялый двор, когда зажглись уже четки огней на улицах. Оба с утра не ели, у деда не было ни копейки. Он боялся, чтобы Ваньтя не напомнил о еде и заторопился спать.

— Хлебца бы,—нерешительно сказал Ваньтя.

Дед прикинулся озадаченным, хлопнул себя по бедрам:

— Вот незадача! Про хлеб-то я, брат, и запамятовал. То-есть из головы вылетело. Право слово! Ну, авось, Ванятка, уснем—будем. Во сне жрать не хочется.

— Ты бы купил...

— То-то, милый, что купила нет. Было, да сплыло, да уплыло,—попробовал отшутиться дед:—Что ты сделаешь!

Ваня лег. Прошло с полчаса. Дед не спал: Ваньтя ворочался и вздыхал.

— Не спишь? Ты глаза прижмурь, да сопи носом—уснешь,—посоветовал дед.

— В брюхе урчит,—жаловался Ваньтя:—хоть бы корочку.

— А где ее достать, корочку?

— Ты выпроси.

— Эва!—оживился дед,—правильно, малый! Пойдем-ка, пойдем.

По яркой улице прохаживались господа об ручку с барынями. А барыни—в шляпках и на шляпках цветы и птичьи перья. Большие, широкие, точно ворота, окна лавок горели огнями. По мостовой в лад цокали копытами холеные господские кони в чудной упряжке с ясными бляхами.

Струсил дед:

— Вишь, все господа. Как бы нам в шею не наклали!

А Ваньтя, выпуча глаза, удивлялся на гроздья фонарей, на барынь с птицами на головах, на светлые окна.

Дед решился, снял шапку, вытянул руку и загнусил:

— Бла-а-детели дорогие! Подайте Христа-ради.

И скоро отозвался благодетель—барин в круглой шляпе. В руках у этого барина была палка с собачьей головой на конце.

Дед испугался палки, даже присел.

Тамбовская областная библиотека СПЕЦФОНД имени А. С. Пушкина

[illegible] голоду, барин. Ей-богу! Сын у нас помер...

Барин положил в шапку деда серебряный рубль и повернул за угол.

— Эво! — изумился дед. — Целковый! Вань, целковый! — [illegible] трясенный, повторял он.

А Ванька пристал:

— Купим, дед, хлебца, хле-е-бца!

Осмотрел дед монету: орел правильный и решка как надо быть; на зуб попробовал — тоже правильно, и спрятал целковый за пазуху.

— Погоди маленько, погоди, — сказал он Ваньке.

— Чего годить? Жрать охота.

— Годи! Чай я умнее тебя.

Опять дед протянул шапку и уже смелее и громче запел:

— Господа хорошие! Барыни милые! Ходим два дни с [illegible], не ели, не пили! Помирать осталось... Деревня наша погорела...

Удивительно было Ваньке, что это дед врет: Заболотинка целехонька стоит и вовсе не горела. И не два дня не евши, а вчера щи ели.

— Дед, а дед! И вовсе врешь ты. Пошто?

Дед сделал страшные глаза и зашипел на Ваньку. Опять затянул. В шапку сыпались гривенники и пятаки: дед торопливо прятал деньги за пазуху.

Но подошел городовой, пригрозил посадить деда в участок. Дед взял Ваньку за руку и пошел с ним за угол в трактир. В трактире стоял большой шкаф с медными дудками, в шкафу дудело, гремело и звенело на весь трактир. Подали деду и Ваньке чаю в белом чайнике и маленьком чайничке, подали ситного. Ванька пил пахучий чай и заедал ситным, а дед считал деньги.

Сосчитал дед, пощелкал языком, сказал:

— Три целковых и семь копеек. [illegible] сколько это выйдет в месяц?

Долго прикидывал дед и про себя, и вслух, и на пальцах, не сумел сосчитать.

— Чай, поболе нашенского, — проговорил он.

Когда вернулись на ночлег, то дед не мог уснуть [illegible] с деньгами, [illegible] думал, опять щупал, [illegible]. К утру дед решил, что не стоит возвращаться в Заболотинку.

[illegible] библиотека [illegible] им. А. С. Пушкина

[illegible] Ничего нет.

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] друг [illegible] А в [illegible]
[illegible].

[illegible] Ваньку [illegible]:

— [illegible] Только [illegible]
[illegible].

На другой день [illegible]
[illegible].

— [illegible] Пустой человек. Мы с
[illegible] — [illegible] будешь.

— Ты хорош [illegible] — ответил [illegible]:
[illegible].

[illegible]:

— [illegible]!

[illegible].

— [illegible]
[illegible]!

[illegible]:

[illegible]
[illegible]
[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

— В деревне у нас народ добрее,— говорил Ванька Лизавете Петровне.— Почто они все матюгаются, тетка?

Лизавета Петровна глядела на Ваньку своими печальными синими глазами, говорила:

— Не они злы, Ваня; жизнь зла. Это их беда злобится.

Гнулась худенькая, высохшая Лизавета Петровна над шитьем; проворно бегали по шелку исколотые иглою пальцы; глаза напряженные и больные, наливались слезами.

— Ты все шьешь, шьешь, а сама рваная ходишь,— жалел Ванька.— И барыни приходят — бранятся, и дядя бьет тебя. Нехорошо живешь.

Откладывала Лизавета Петровна шитье, вздыхала, обнимала Ваню, гладила по щеке:

— Милый ты мой! А что делать? Жить надо. Почему — не знаю, а надо.

Живого места не было на ней. Болели глаза от работы, не сходили синяки от побоев.

— Никто не виноват, Ваня. Нет виноватых. Андрей... с десяти лет работает. Маленьким был — отец его бил, потом — мастера, теперь — нужда бьет. Когда у человека зуб болит — он вырвет его либо одурманит лекарством. А когда душа болит? Ее не вырвешь. Одурманивают злобой или водкой.

Лизавета Петровна перекусила нитку зубами, прогладила наперстком швов и села за машинку. Быстро застучала и запела дрожащим голосом песню.

Как-то Синов пришел трезвый и добрый и сказал Ване:

— Пойдем-ка, милый, со мною. Я для тебя кое-что придумал.

— Куда ты, Андрюша? — спросила Лизавета Петровна.

— К Курочкину.

Машинист Курочкин с женой Грушей жил в том же доме, [illegible], в двух комнатах с кухней. Когда Ваня [illegible] к Курочкину, то оробел. Оробел от того, что никогда не видал такой [illegible] чистоты. [illegible] [illegible] по полу лежали белые половики; [illegible] [illegible] и была [illegible].

Сам Курочкин, [illegible], [illegible] [illegible], [illegible] [illegible] и бородой, в черной суконной [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible] [illegible]. [illegible] Грушу. Груша была [illegible] [illegible].

Не торопясь, Курочкин отодвинул книгу, поднялся навстречу.

— А-а, Синов! Что давно не был? — пробасил он дробным сиплым говорком и крепко потряс Синову руку. — А это что за птица?

Улыбнулся Синов. Весело стало и Ваньке, потому что улыбка и радость дышали от честной и складной речи Курочкина и от доброго крепкого всего в этом доме.

— Новенький я к тебе, Василий Михайлыч, по делу, — ответил Синов.

— Садись, брат. Приглядись-ка и ты петух. Кто ты? — смеясь глазами, спросил Курочкин Ваньку.

— Я — Ванька, — улыбнулся тот в ответ.

— Стало быть, Иван! Так и будем звать. Ну, а чай мы пьем? [illegible] Ваньке чаю.

И не успел гость ответить, как уже забренчала посуда на столе и уже несла из кухни Груня раскрасневшийся, сердитый пузатенький самовар.

Ваньке отвалили в стакан два куска сахару и дали сайку. Он смаковал горячий чай, заедая чай с сайкой и блаженствовал...

— Теперь можно рассказывать, — разрешил Курочкин.

Все, что знал Синов про Ваньку, про его дела, про то, как он хулиганил, как Ванька отказался ходить с дедом.

— Стало-быть, знакомых нету у тебя, — прогудел своим голосом Курочкин. — Дело! Правильно жить, как начал, петух: [illegible] не доставайся.

— Присмотреть бы его надо. Бездомным был, — сказал Синов.

— Это мы можем, — ответил Курочкин. — Первым делом его научим грамоте.

— Первым делом его помыть, — возразила Груня.

— Поправка принята единогласно, — сказал Курочкин.

Груня увела Ваньку на кухню, раздела его и усадила в лохань. Ванька не успел даже сообразить хорошенько, что с ним делают, как его обмыли, окатили водой и подали чистую рубаху. Рукава были длинны — Груня даже закатала рукава ему.

— Ну-ка, Иван, — сказал смеясь Курочкин, — задача тебе [illegible] и живи пока — учить тебя будем. Выучишься [illegible] Понял [illegible].

И уснул Ванька [illegible] в чистой рубахе, [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Пелагеи Петровны [illegible]

[illegible]

[illegible]

Осенью, в слякотный вечер, [illegible] простудился и помер.

[illegible] работу, а Сивова рассчитали. Сивов по целым дням ходил по городу, искал работу, но нигде ее не было. [illegible] Пелагеи Петровны [illegible]

Полгода прошло — работы все не было. Сивов [illegible]. Он стал ходить на пристань, [illegible]

Пелагея Петровна поступила [illegible]

Курочкин предложил Сивову [illegible] двадцать копеек.

— Правильно?— спросил Курочкин, притворяясь [illegible]

— Правильно,— ответил [illegible] уходить.

[illegible]

— [illegible] Шинкарев [illegible]

— [illegible] — Что [illegible]

— [illegible]

[illegible] — [illegible]

— И что же [illegible]? — [illegible] Курочкин.

— [illegible]

[illegible] и ушел. А Курочкин [illegible] по комнате.

Страшно и жутко [illegible] Иван [illegible]

[illegible] Шинкарь [illegible]

А [illegible] Шинкаря [illegible]

И [illegible]

Ване было очень грустно. Слезы подступали к горлу, но стыдно было плакать при людях. Он забрался на кухню, уткнулся носом в мешок с картофелем и горько заплакал.

В тот день студент Лассаль с утра писал у Курочкина золотистыми чернилами, старательно выводил печатные буквы на большом листке. Груня сварила какой-то кисель, вылила его в сковороду и поставила стынуть на кухне.

Окончив писать, Лассаль взял свою бумагу и пошел на кухню. Ваню он не заметил. Засучил рукава и принялся за дело. Он положил исписанный лист на застывший кисель и начал проглаживать бумагу ладонями.

Ваня притих и втиснул голову в мешок — спрятался. Но Лассаль уже увидел его.

— Что ты делаешь там у мешка? — спросил он.

Ваня всхлипнул.

— Эге! Ты плачешь? — сказал Лассаль и подошел к Ване. — Почему ты плачешь?

Как Ваня не упирался, Лассаль повернул его лицом к себе. У Вани глаза были полны слез.

— Ну-да, плачет. Вот беда!

Лассаль растерялся. Он не знал, что надо делать с человеком, который плачет.

— Я думаю, что тебе следует напиться, — решил он и налил из крана воду в кружку. — Пей. Это, кажется, помогает.

Ваня выпил воду и перестал всхлипывать. Лассаль одобрительно закивал головою:

— Так, так. Помогло, видишь? Но почему ты плакал? Расскажи-ка. Или подожди. Пора снять лист. Готово! Теперь вот что: ты подаешь мне бумагу, я накладываю, и тем временем ты рассказываешь мне в чем дело, а я слушаю. Экономия времени и действий.

Ване хотелось рассказать Лассалю обо всем: о столяре Шапоже, о портном Полухине, о Сашке, о хозяине дома в золотых очках, о господах, которые едят сладкие пирожки и гуляют в саду под музыку. Но у него не подбиралось нужных слов, и он молчал.

— Ну? — спросил Лассаль. — Или ты плакал без причины? Тогда это глупость или болезнь. А если есть причина — скажи.

— Я не умею сказать, — сознался Ваня.

— Стало-быть, ты еще хорошо не знаешь, почему плачешь, — сказал Лассаль.

— Нет, [illegible], дяденька Лассаль, — возразил Ваня. — [illegible] Он работать хочет, а работы нет. Почему? [illegible] Все живется [illegible]. Одни господа хорошо живут.

Лассаль оставил свою работу и внимательно смотрел на Ваню.

— Гм, гм, — закашлял он. — Да ты, оказывается, толковый мальчик. Ты грамотен? Да? Я тебе книжки принесу, прочти [illegible]

Когда окончили работу, Лассаль обратился к Ване с такой речью:

— Знаешь ли ты, друг, что такое [illegible]? [illegible] что мы с тобой листки печатали. За это в острог сажают. Понял?

— Неужто посадят? — изумился Ваня. — [illegible] не воровали.

Но тут же он вспомнил, что отец не воровал, а его держали в тюрьме.

— [illegible], — [illegible] он. — [illegible] посадили.

— За что? — не сразу понял Лассаль. — Ага, понимаю: без [illegible] Это бывает. Однако, нет, брат, [illegible] посадят, а за то, что печатали листки против правительства. Так что болтать об этом не годится.

— Вот те крест святой, — побожился Ваня.

Лассаль усмехнулся:

— Не надо мне этого.

Когда Лассаль ушел, Ваня стал думать о листках и о правительстве. Про правительство он думал как-то [illegible] дома с [illegible] будкой у ворот, из которых [illegible] острог, полиция, [illegible] который ударил отца, [illegible] исправник, который [illegible] В листках Лассаля [illegible] городовых, исправника, [illegible] и, должно быть, [illegible] будет [illegible] Лассаля [illegible] Ваня гордился, что вместе с Лассалем и он [illegible] и [illegible], что не выпросил себе один листок.

[illegible] Ваню, когда он поступил на [illegible] фабрику, а через месяц [illegible] арестовали [illegible]. [illegible]

и рабочих [illegible] Ваня [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— Стой! Куда? — [illegible]

— [illegible] — [illegible] Ваня.

— Рассказывай! Где [illegible]?

— [illegible]

[illegible] Ваня [illegible]

[illegible]

Он [illegible] друг к другу, точно [illegible]

[illegible] Ваня [illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible] Николай Петрович [illegible]

— Кто там?

Это был голос Николая Петровича.

— Я. Я. Откройте, скорее!

В комнате — на полу, на столе, на [illegible] печатанных листков. Худая бледная женщина [illegible] Ваня проговорил скороговоркой:

— У нас [illegible]. У Васи [illegible]. Его взяли.

Женщина [illegible] на мужа. Николай Петрович [illegible]. Его руки [illegible].

— Так, — спокойно проговорил он. — Так.

[illegible]

— [illegible] — он. — [illegible].

— Что теперь делать? — спросила женщина.

Николай Петрович [illegible] бумаги [illegible].

— Ах, жаль, — сказал он. — Надо переходить на [illegible] скрывайся. Иди.

Женщины вместе вынули из комода белье и бросили в [illegible] корзинку. Потом обе быстро оделись. Николай Петрович [illegible] и написал на листке бумаги:

— Дорогой товарищ! Я срочно выехал в [illegible]. Поезжай [illegible].

Он подписался печатными буквами [illegible] и бросил на [illegible] на видном месте.

— Может быть, это собьет их с толку, — сказал он.

Николай Петрович потушил лампу, и все, по-одному, осторожно вышли на улицу.

Ваня пошел домой. Было светло — дома не было уже городового. В окнах ярко горел свет. Ваня толкнул дверь. Она была заперта. Он дернул звонок. Из дверей высунулась усатая морда городового. Городовой впустил Ваню в сени.

— Входи-ка, входи, — подбодрил его городовой пинками.

В комнате на полу были разбросаны книги, письма, клочья бумаги. Одна половица была поднята. Пахло сапогами, махоркой и [illegible]. У стола сидел [illegible] околоточный, на кровати Ваня увидел сыщика в пиджаке с острой [illegible] бородкой.

— Ваше благородие. Вот пацан, — сказал городовой.

Околоточный встрепенулся, вскинул глаза на Ваню и разочаровался:

— Только?

Но сыщик в пиджаке заинтересовался Ваней и впился в него острым взглядом:

— Кто такой?

— Я племянник. А вот [illegible]

— Ага, племянничек, — язвительно произнес сыщик.

— Нет тебе племянник, а не я, — дерзко ответил Ваня и с ненавистью посмотрел на остробородого сыщика.

— Уведи-ка [illegible]. Пусть [illegible].

— Шустрый! — усмехнулся сыщик. — А [illegible] до утра?

— Это мое дело, — ответил Ваня и [illegible].

Был Ваня мал ростом, но широкоплеч и крепок. Исподлобья глядели глаза его серые хмуро и недоверчиво. Был он угловат и неловок в движениях, застенчив и скуп на слова.

На фабрике Ваня работал по четырнадцати часов в сутки и платили по тридцать копеек в день. На эти деньги Ваня снимал комнату, платил в библиотеке за книги и жил впроголодь.

Вместе с Ваней работало человек полтораста. Было много подростков, были и дети по восьми-девяти лет. Мальчики курили табак, а по воскресеньям ходили в трактир и, подражая взрослым, пили водку, от которой с непривычки сразу хмелели.

Коноводом самых отчаянных на фабрике был Сенька Сараничев, которого уважали за силу, ядовитый язык и веселость. Его лицо, изъеденное оспой, никогда не оставалось в покое: то улыбалось, показывая крепкие желтые от табаку зубы, то хмурилось, собирая складки на лбу, а то хитро подмигивало глазом. Картуз со сломанным козырьком торчал на затылке, воротник ситцевой рубахи был расстегнут и открывал смуглую выпуклую грудь. Все это придавало Сараничеву отчаянный и залихватский вид. Всегда затеи придумывал Сараничев и [illegible].

— Пойдем бить барчуков! — предлагал он.

Шли на сквер, где ходили гимназисты, и прятались в кусты. Заложив руки в карманы заплатанных портков и сдвинув на затылок картуз, ходил Сараничев петухом по аллее и поджидал. Вот идет гимназистик-приготовишка в [illegible] курточке. Сараничев пропускает его. А вот шагает [illegible] шестиклассник с тонкой тросточкой.

— Хлюст! Белые перчатки, [illegible]! — кричит Сараничев. — Стой, пока [illegible].

Закурив папиросу, Сараничев оглядывал гимназиста с головы до ног и, точно в раздумье, произносил:

— Съездить, что ли?

Гимназист бледнеет и пятится.

— За что?

— Хорош больно. В штиблетах ходишь, [illegible]. [illegible] не будешь. Двинуть [illegible]?

Он [illegible] на [illegible] [illegible] грудь и [illegible]:

— [illegible]! [illegible]!

И вдруг, размахнувшись, сильным ударом по лицу [illegible] на землю [illegible]. Презрительно и [illegible] прошипел:

— [illegible]!

[illegible] в кустах [illegible] конвоиры [illegible]. На шум прибежал городовой, [illegible].

[illegible]. Но Сарайчев [illegible]:

— Подлецы! Мерзавцы все.

[illegible] Очень трудно. [illegible]. После [illegible] работать.

Осенью в городе [illegible] на фабрике. [illegible] работы. [illegible].

В конце октября, [illegible] управляющий, [illegible] что [illegible] на [illegible].

Рабочие зашумели.

— Как так? [illegible] с голоду! Помирать нам, что ли?

Управляющий развел [illegible] руками:

— Не от меня зависит.

Рабочие стали [illegible]. Они кричали про своих голодных детей, показывали рваную обувь, [illegible].

— Не от меня зависит, — повторил управляющий. — Расходитесь.

Сарайчев [illegible]:

— [illegible].

[illegible]:

— Правильно, верно!

Управляющий [illegible] Сарайчева.

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

— [illegible]

[illegible]

— [illegible]

[illegible]

— Курочкиных ждет каторга, — проскрипел он. — Будем откровенны. Что вам до них? Вы молоды и хотите жить. И должны жить. Что значит жить? Иметь на мелкие расходы — на папиросы, на барышень. Ха-ха, — пролаял ротмистр. — Молодость, это понятно. Ну, и вот... — Он приостановился и кольнул Ваню глазами. — У вас все будет, все. От вас же требуется простая вещь — откровенность.

Ваня отшатнулся и столкнул руку ротмистра с своего плеча.

— Отстаньте! — крикнул он задыхаясь. — Отстаньте! Ничего я не знаю и ничего вы из меня не вытянете.

Ротмистр встал, раза два прошелся по комнате и стукнул согнутым пальцем по столу:

— Плохую вы себе дорогу выбрали, юноша, плохую! Не уйдете, мы вас еще скрутим. В остроге не сидели? Посидите. А теперь подпишите эту бумажку и идите.

Ваня вышел из жандармского правления ошалелый и пришибленный. Опомнился он только на бульваре, который ему надо было пересечь. Бульвар поседел от первого осеннего снежка, запорошившего аллеи и клумбы. На седых деревьях среди белых хлопьев снега, точно хлопья ваты, повисшие на ветвях, кой-где еще золотился мертвый золотой лист. Покоробленные и побуревшие от утренника листья шуршали под ногами и катились по дорожкам, подгоняемые ветром.

На бульваре, на скамье, сидел Сарайчев, сутулясь и нервно обкусывая мундштук папиросы. Его веснушчатое лицо было хмуро. Ваня поздоровался и сел подле.

— Скучаешь? — спросил он.

Сарайчев с силой швырнул окурок на землю.

— Злюсь. Ты откуда?

Ваня сказал. Сарайчев повел бровями и свистнул:

— Вот ты какой! Расскажи-ка, что они за люди? Чего хотят?

Ваня осторожно посмотрел кругом и ответил вполголоса:

— Они хотят перестроить жизнь. Чтобы не было ни господ, ни [illegible] не было. Все вместе мы будем [illegible] в этой жизни.

Сарайчев широко раскрыл глаза, потом усмехнулся. Не торопясь, он вынул папироску, [illegible] закурил, [illegible]:

— [illegible]

— Они не врут,—горячо возразил Ваня.—Их за правду гноят в тюрьмах и на каторге. Ты не знаешь.

— Может, оно и так,—раздумчиво произнес Саранчев.—Что и тебе? Я семь лет на фабрике... Я приду к тебе как-нибудь. Можно?—спросил он.

— Приходи,—ответил Ваня и попрощался с Саранчевым.

И. Душенков.

ПЕРЕЛОМ.

(Новогодний рассказ).

Семка приехал в Петроград из голодающего Поволжья. Отец его поступил на завод, где уже работал Семкин дядя. А через неделю и Семку поместили в учебную мастерскую при этом-же заводе.

Сначала Семке Петроград не понравился, даже внушал какой-то неведомый страх. При каждом звонке трамвая он вздрагивал и испуганно оглядывался по сторонам. Везде он видел только дома, дома и дома. Нет ни полей, ни лугов, ни леса, ничего из того, что он так любил.

И Семка мысленно уносился в свою родную деревню. Вот где был простор-то! И река близко, и лес. Когда делать нечего, можно и рыбу поудить, искупаться, в лес сходить по ягоды и грибы, горошку в поле нарвать. И работа в деревне веселая—боронить, сеять, косить, сено ворошить,—все с песней. Особенно хорошо косить! Выйдешь это утром—солнышко только подымается. Трава свежая, росистая, ароматная. Ноги промокнут, но им не холодно, а только приятно. Солнышко так легонько, ласково греет спину. Другой раз пойдешь в лес косить,—и травы накосишь и целое лукошко грибов косой нарежешь.

Только этот год не пришлось ничего делать. Солнце все сожгло...

И завода Семка сначала боялся. Как проходить мимо мастерских, так и шаги делает скорее. Особенно страшно в литейной и прокатной: там всегда стук, грохот, какие-то красные листы двигаются взад и вперед, а люди метлами что-то с них сметают. Что-то шипит, гудит, раздаются пронзительные, потрясающие душу, звуки. Точно кого-то мучают! И люди с метлами как раз похожи на чертей.

Но ко всему можно привыкнуть. И Семка недели через две уже не боялся завода. А проходя мимо мастерских, он уже нарочно останавливался у окон мастерских и с интересом наблюдал за работой. Все ему казалось уже не страшным, а интересным. И работа в учебной мастерской нравилась не меньше косьбы и других деревенских работ.

В слесарном отделении, в котором работал и Семка, занималось сорок подростков. Все они отличались от Семки своим веселым, живым характером. Во время работы они всегда перекидывались веселыми шутками, часто, сговорившись между собою, выбирали кого-нибудь, наиболее смирного и своими вопросами, шутками и серьезным видом старались поставить его в неудобное положение. Жертва их мямлит, отнекивается, недоумевает, пока ее не заставят сказать что-либо такое, от чего все начинают хохотать «в покатушку», а организатор объявляет жертве, что тот «сидел в бутылке».

Семку никогда никто не тревожил и не приставал. Для своих забав затейники выбирали таких подростков, которых легко можно было обмануть, над которыми можно было посмеяться.

К Семке же они относились с каким-то уважением. Он всегда работал молча; работал усердно, чисто, и скоро его работы стали в отделении самыми лучшими. Часто во время работы он внезапно задумывался, облокотившись на тиски, и, казалось, не видел и не слышал ничего, что творилось вокруг. В такие моменты все остальные подростки многозначительно переглядывались между собою, указывали на Семку глазами, но никогда не прерывали его размышлений. Для них он был особенным человеком: никто из них не был таким серьезным, таким задумчивым, таким загадочным...

А Семка в эти минуты обыкновенно вспоминал деревню. И иногда на лице его появлялась улыбка — вероятно он вспоминал что-нибудь веселое, радостное.

Но иногда задумчивость его была совершенно другого рода. Лоб его морщился, губы крепко сжимались, брови хмурились. Казалось, он ломал себе голову над неразрешимой загадкой.

И вот, однажды, после нескольких минут такой задумчивости, Семка внезапно оторвался от тисков и, обращаясь ко всем работающим, произнес: — Ребята, скажите, Бог есть?..

На несколько секунд в отделении воцарилась полнейшая тишина. Все как-то невольно бросили точить, стучать, обрубать.

Все обернулись и смотрели на Семку; у всех в ушах стоял его неожиданный, странный вопрос, но никто не нашелся сразу ответить. Наконец один, стараясь не смотреть прямо в глаза Семке, конфузливо произнес:

— По-моему—Бога нет.

Семка посмотрел на него пристальным долгим взглядом и как-то страдальчески произнес:

— А я еще не знаю.

И за весь день он не сказал больше ни слова...

* * *

После этого, Семка как бы переменился: он стал больше разговаривать со своими сотоварищами по отделению, а с Волковым, который ответил на его вопрос—крепко подружился. Во время перемен их всегда можно было видеть забравшимися в какой-нибудь уголок, где они всегда о чем-то серьезно беседовали. Иногда до их товарищей долетали слова:

— Голод... Мать умерла... Бог добрый...

Почему?...

И после каждого такого разговора, Семка брался за работу с просветленным, ожившим лицом...

В одну из перемен Волков собрал всех работающих в отделении в комнату, которая служила им для отдыха. Когда все собрались, он взобрался на скамейку и стал говорить:

— Товарищи! Мы, то есть я и вот он (он указал на Семку), хотели бы, чтобы наше отделение помогло голодающим. Говорить о том, как там страдают—не надо— все знают. Мы предлагаем всем отчислить в пользу голодающих трехдневный хлебный паек, обменять его на муку и послать наш небольшой подарок с надписью: «Юные пролетарии № завода, слесарного отделения, голодающим детям Поволжья». Согласны?

Никто даже не раздумывал. Все хором кричали:

— Согласны! Согласны!

Семка с благодарностью смотрел на товарищей. На его лице написаны были волнение и радость. Радовался он не только тому, что они хоть немного помогут своим хлебом голодающим, но и тому, что все эти подростки с таким жаром откликнулись на их предложение, между тем, как он знал, что большинству их не

всегда самим хватало хлеба. Ему даже казалось, что все собравшиеся смотрят на него с благодарностью, точно чем-то ему обязаны.

А Волков подошел к Семке и тихим, торжественным голосом проговорил:

— Этим хлебом мы, а не Бог, спасем жизнь нескольких человек...

Когда кончили работать, Семка позвал Волкова, и они вместе пошли домой. У своего дома Волков, прощаясь с Семкой, произнес:

— В субботу, под Новый Год в клубе Союза Молодежи будет концерт в пользу голодающих. Тебе достать билет?

— Достань, — ответил Семка.

И, идя домой, он вспомнил воодушевленные лица товарищей по отделению и думал о том, что сорок человек, таких же молодых, как он сам, без помощи Бога, могут спасти жизнь нескольких голодающих людей...

* * *

Семка еще никогда не был в клубе. Он часто слышал, как товарищи в мастерской рассказывали друг другу о том, что были в клубе, видели то-то и то-то. Семка очень интересовался этими разговорами, часто думал о клубе, но почему-то боялся спросить, как туда попасть?

И теперь, сидя в первых рядах залы, он с любопытством осматривался кругом. Он видел вокруг себя молодых девушек и юношей, которые смеялись, разговаривали, спорили.

Все, казалось, были как братья и сестры.

Все относились друг к другу просто, свободно, — как дома. И это Семке очень понравилось. Смотря на этих веселых юношей и девушек, он вдруг почувствовал себя одиноким. Ему так захотелось находиться в кругу этой молодежи, быть таким-же, как они... Но это казалось ему чем-то невероятным, недосягаемым...

Вот в зале все стихло: на сцену вышел юноша и об'явил, что сейчас концерт в помощь голодающим будет открыт.

Начался концерт речью о положении голодающих Поволжья. Семка никогда не слышал ораторов и потому слушал с большим вниманием. Но после нескольких слов оратора он разочаровался: он ожидал услышать не то. Правда, оратор говорил спокойно, красиво, уверенно: Семка при его словах вспомнил свою деревню, но

все же слова оратора не оставляли у него большого впечатления. И самый голод и положение голодающих было очерчено так неясно, так туманно. Хорошо говорилось только о том, что молодежь Питера должна помочь голодающим.

И Семке даже сделалось стыдно за оратора. Ему казалось, что он сам скажет лучше. Конечно, не так красиво, но зато ярко. Ведь он сам из Поволжья, сам голодал, мать его умерла от голода, он сам видал, как там умирают. И этот оратор, который ничего этого не видел и не испытал, конечно, не мог так описать, чтобы зажечь слушателей. И Семку вдруг пронзила смелая, огненная мысль. Что если ему сейчас выступить, высказаться перед всеми!

Пока говорил оратор, эта мысль не давала ему сидеть. Ему казалось, что он вот-вот вскочит с места и уйдет на сцену.

Речь кончилась. По залу пронеслись аплодисменты. Семка встал и пошел. Голова его кружилась, в висках стучало, сердце учащенно билось. Вот он на сцене: увидев юношу с красной повязкой на рукаве, он заплетающимся языком произнес:

— Можно... Можно мне говорить... Я из Поволжья.

Дальше он ничего хорошо не помнит. Юноша с красной повязкой потащил его к столу, его что-то спросил. Потом он встал на сцену и за занавесом слышал говор собравшихся. Потом он услышал, как кто-то произнес:

— Слово предоставляется товарищу Акимову, приехавшему из Поволжья.

Занавес раскрылся. Сотни глаз с любопытством устремились на Семку, пронизывали его, он не чувствовал под собою пола.

— Что я им буду говорить? Ведь я никогда еще не говорил, — пронеслось в его голове.

Но, собравшись с духом, он начал... Сначала медленно, неуверенно, потом громче, ярче, спокойнее. Он не говорил красиво, фразами — он говорил от души, он им рассказывал, что видел, испытал, чувствовал...

— Такие же молодые, как вы... Валились на дороге... Маленькие, грудные дети сосали грудь мертвой матери... Дети плакали, зовя своих матерей, отцов... Ели глину, лебеду... На поле, обнявшись, брат с сестрой лежали мертвые... Мальчик отнимал корку хлеба у девочки, и она плакала... В лесу около дороги стоит телега, в телеге мертвая мать, а два ребенка сидят и плачут... Не хотят от нее уходить...

Семка кончил. Аплодисменты, громы аплодисментов сопровождали его. Его окружили тесным кругом взволнованные, братские, сочувствующие лица. Он чувствовал себя как в родной семье. Кто-то произнес:

— Записывайтесь к нам...

Семка встрепенулся. К горлу подступило что-то, он чуть не заплакал от волнения.

— Я хочу... Я хочу быть с вами... У вас так хорошо... Я запишусь, — лепетал он...

Потом он смотрел концертные номера. Сами же юноши, девушки пели, играли, декламировали. Какие у них хорошие, добрые лица!

И Семка чувствовал в себе какой-то перелом.

В его сознании народилось что-то новое и сам он стал новым. И новое это было таким хорошим, ярким, манящим! То, чем он раньше жил, совершенно не было жизнью. Быть в большой, братской семье! Один за всех, все за одного! А Бог? Нет, здесь Бога нет, здесь несокрушимая, всесильная, тесная любовь!

Здесь единство, союз, счастье...

И как у Семки старая, мертвая жизнь уступала место новой, красивой, счастливой, так и старый хмурый, полный несчастий год сменялся свежим, юным, Новым годом!

Авось он будет лучше старого.

А. Безыменский.

ЮНЫЙ ПРОЛЕТАРИЙ.

(Жизнь Мити)

Повесть в стихах.

Рождение.

Неуемный, неустанный.
Неумолчный, непрестанный,
Словно боль невыносимый.
Словно смерть неумолимый,

Полновластный, властелинный
Ходит, бродит стук машинный.
Словно дикий, злобный хохот
Этот шелест, этот грохот

Наполняет гулом уши.
Кружит мысли, давит душу
И, как зверь остервенелый.
Рвет в куски живое тело.

Вот бессильно и послушно
Пред громадою бездушной,
Руки тонкие сжимая.
Преклонилась тень живая.

А под сердцем трепет вещий...
Кто-то бьется и трепещет.

Кто-то рвет свои оковы
И кричит о жизни новой...

Кто-то в очи бросил властно
Море точек синих... красных...
Кто-то с силою великой
Завертел их в пляске дикой

И бушующею страстью
Тело рвет ее на части...
Кто-то, где-то, чьи-то стоны

Вдруг смешал с машинным звоном...
Оборвал... И с силой дикой
Все прорезал властным криком.

Начал свой рабочий век
Вновь пришедший человек.

Младенчество.

У заставы, при дороге,
В низкой комнатке убогой
Долгим криком звонко плачет
Тот, чей путь лишь только начат.

Рядом с ним, в постели тесной
Бесконечной, нудной песней
Мать без слез над ним рыдает,
Всей душой она впивает

Этот крик невыносимый,
Ненавистный и... любимый,
Из какой-то грязной тряпки
Рвется голос тонкий, зябкий

И сверлит своей иглою
Сердце женское, живое.

Тучи грозной, страшной мысли
Над душой ее повисли.

Будто кто-то бы железом
Ей дыханье перерезал,
Навалившись черной грудью...

— Чем он будет? Кем он будет?
Кто же первый в нем разбудит
Может быть живую душу?
Ну, а если... жизнь... задушит...

Может... смерть косой скосит?
Нет! Он первым людям бросит
Мысли огненное семя!
Ну, а вдруг... он будет... с теми?...

О, пусть смерть! Пусть жизнь без света,
Только... только бы не это...
Нет, о нет! Ведь он рабочий!
Лучше душу рвать на клочья,

Чем продать себя богатым!
О, мой милый и... проклятый... —

Вдруг... в окне, как гром из тучи,
В даль метнулся рев могучий
И наполнил гудом гулким

Тьмы неясной закоулки.
То — гудок. Зовет работа
Людям деньги лить из пота.

Целый день тоскливо плачет
Тот, чей путь лишь только начат.
Где же он? Чужие люди
С неприветливою грудью

Тельце слабенькое носит
Или с бранью в руки бросит
Семилетнему ребенку.
Плачет, рвется голос тонкий.

Тихо жалуясь, как будто,
На судьбу свою кому-то.

День прошел... в постели темной
Снова мать с тоскливой песней
После муки на заводе
Ночь бессонную проводит.

Детство.

[illegible] пора детства.
[illegible] прекрасна!
Граф Л. Н. Толстой.

Развернулись детства сказки...
Слышишь, слышишь, эти ласки?...

Мишка! Стенка! Колька! Гришка!
Ах паскуды, дрянь — мальчишки!
Вот возись с такой оравой,
Нет на вас, чертей, управы!

Митька, дьявол, дай-ка веник. —
Кто окно разбил, мошенник?
Митька, сволочь, уши дай-ка!
Вишь работает хозяйка.

Ну и валит нам на шею
Вот такого-то злодея.

Мишка! Фенька! Митька! Степка!
Вот дождетесь, будет трепка!

Ишь напакостили в хате...
Вот вам!.. Вот вам!.. Нате!.. Нате!..

Кто-то в скорченные губы
Плюнул бранью грязной, грубой...

Кто-то вскрикнул... снова... снова...
(Песни детства золотого!)

Всюду ругань, свистки, крики,
Всюду взмах порывов диких,
Всюду грязь, дома — заплаты,
Всюду брань, слова разврата.

Вместо крыши — часто небо,
Вместо пищи — корки хлеба,
Вместо света — тьма густая,
Вместо мысли — жизнь тупая...

Вот она, пора «святая»!
Вот они, златые годы...
Для рабочего народа.

Отрочество.

В низком, сумрачном подвале
Сном тяжелым люди спали.
Только там, за загородкой,
Люлька взвизгивает робко,

Заглушая тихим скрипом,
Чьей-то песни голос хриплый.

Это мальчик — за работой...
Кто-то властною дремотой

Клонит голову на землю...
Но лишь только он задремлет,
Крепкий сон его разбудит
Чей-то окрик бранью грубой.

— Где твои глаза-то рачьи?
Митька, слышь, дите вон плачет!—
Снова люлька тихим скрипом
Заглушает голос хриплый...

Вновь дремота... снова окрик...
В окна бьется кто-то мокрый...
Всюду сырость, сумрак, холод...
Сон в глаза стучит, как молот...

Словно спит седое время...
Наконец в пустую темень
Постепенно, незаметно
Кто-то бросил отблеск бледный.

Всюду гулкий гам проснулся... —
День рабочий потянулся.

— Самовар! Живей! Митрий!
Полно дрыхнуть... Нос-то вытри...
Я те дам, лентяй проклятый,
Тут не барские палаты!

Эй, Митюха!.. За водой!..
Угли дай!.. Возись с дитей!..
Митька, черт!.. Помой-ка ложки!..
Гей, дрова!.. Почисть картошки!..

Митька, сволочь, дьявол пегий!..
Дай!.. Снеси!.. Сработай!.. Сбегай!..

Всюду ругань и побои.
Всюду грязные помои.
Вместо света—воздух пыльный.
Вместо ласки—подзатыльник.
На обед—одна краюха...

Так работает Митюха.

Ученье.

Больно горестно мальчишке...
Не для бедных были книжки!
Все ведь время есть работа
И проклятая забота.

Как-бы с горя не засохнуть.
Как-бы с голоду не сдохнуть.
Но Митюха сам затеял
Вместе с Ванькой грамотеем

Понимать читать по бумажке.
И учился мальчишка
Втихомолку, на задворках.
А увидят—значит порка...

Но Митюха не страшился
Ну... и грамоте добился.
В гуще жизни безотрадной
Он впивал душою жадной
Книжки светлые страницы...

Так пришлось ему учиться.

Завод.

Только лишь прошло два года
На завод был Митя отдан.
Там он должен распинаться
Каждый день часов... шестнадцать.

Душно. пыльно. грязно. тесно.
Сетью лап паук железный
Тело хрупкое сжимает
И как будто-бы толкает.

Кружат мысли... ломит спину...
Каждый раз челнок машины
Словно в грудь ударом мечет.
Миг — и навек искалечит

И ни до смерти замучит.
Ну, а люди? Те не лучше!
Каждый раз его толкают.
Всяк, кому не лень, ругает.

Издеваясь сердито
Над душой его забитой.
Ну и вдруг...

Февральская резолюция.

Красной, радостной весною
За рабочею толпою
Митя наш на волю вышел.
На балконах, стенах, крышах

Реют красные плакаты: —
«Смерть насильникам проклятым!»
«Горе свергнутой короне!..»
Юным сердцем Митя понял.

Что случилось что-то в жизни...
Кто-то в лица светом брызнул
И исторгнул клич свободный
Из глубин души народной.

Словно после долгой ночи
Свет увидел люд рабочий...

Строй пришедший проклиная.
Присмирел лихой хозяин.
Ненадолго!.. Скоро снова
Начал он свой гнет суровый.

— Подождите вы бараны. —
Брать завод вам слишком рано.
Где же править рати серой?
Не велят еще эсеры!

С ними я, как брат, спознался. —
Я в эсеры записался. —

Митинг... крики... чьи-то речи...
Кто-то звал к какой-то сече...
Кто-то голосом огнистым
Бросил слово «коммунисты»

И завод одним приветом
Кинул крик «Вся власть Советам!»
Все решили: — забастовка.
Две недели голодовка...

Снова митинг... выступленье...
Чьи-то грозные гоненья...
Буря в воздухе носилась
И... всей силой разразилась.

Октябрьская революция.

Снова красные плакаты:—
«Жизнь—рабочим! Смерть—богатым!»
«Лейся песня трудовая—
Больше нет уже [illegible]!»
«Старый мир разодран в клочья—
Встал у власти люд рабочий.»

П л а к а т

[illegible] [illegible] кто-то.—
Митя встал перед плакатом
И прочел [illegible]
— К Пролетарской Молодежи!—

Всех, кто к знаньям стремится,
Хочет [illegible] и учиться,
Мы зовем от жизни старой
В ряды юных коммунаров.

Дети рабочего Народа!
Дети фабрик и заводов!
[illegible] слово.
Мы зовем вас к жизни новой!
[illegible]
Все в Союз Молодежи!—

Митя [illegible]
— Вот он [illegible]!—
И [illegible]
Отпер дверь своей рукою.

В Коммунистическом Союзе Молодежи.

В уши Мите [illegible]
Светлый смех [illegible].
Он вошел, к столу пробрался
И на мир [illegible]...

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Марине [illegible]

[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Р . . . М . . .

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
Мы — [illegible] грядущей судьбы!
Мы [illegible] по плечи
[illegible]

[illegible]
[illegible] грудь.
[illegible]
[illegible]

[illegible] шире!
Пусть [illegible] — добилось!
И мы [illegible] мировой
[illegible]

Грянь [illegible]...
Бури [illegible]...
И из тёмных [illegible]
Звонко [illegible] Песнь Коммуны.

Вдруг... внезапно [illegible]...
За далёкими [illegible]
Грянул с силою чудесной
Отзвук этой юной песни.

Что [illegible] в мире?
Все сильнее... громче... шире...

Это Молодость идет.
Это Молодость поет.

Песни молодости.

Наши песни [illegible]
Всем расскажут чудеса
О [illegible] народе
О пришедшей [illegible] свободе, —

Чьим лучом озарены
Дали пламенной Весны.

Юным, знойным поцелуем
Нашу душу огневую.

В недра мира мы вдохнем
И зажжем
Опаляющим огнем
Все сердца для светлой встречи.

Мы рассыплем и размечем
Мысли огненной червонцы.
Мы достанем с неба солнце!
Чтобы [illegible] сиянье

Миру скорби и страданья
Мы сожжем его лучи!
Мы — Грядущего [illegible].
Дети Ме[illegible] и [illegible].

Мы — огни и безграничны.
Мы в пиру вечной жизни
Нашей молодостью брызнем.
Если С[illegible] ужасны

Взрывы Жизни полноцветной.
То для нас они прекрасны,
Молодых,
Огневых.

Все в нас — гимн! Сердце — полно.
Мысли — птицы, думы — волны,
Что поют
И несут

Пламень — Жизнь, пламень вечный
Вдаль... К Свободе!.. В бесконечность...
Мир великий окружает,
Обвивает

Молодой Любви запястье.
Сколько весеннего счастья

Говорить
И творить,

Чтоб всю душу [illegible]
В сердце [illegible] Народа;
Чтоб [illegible] будь и [illegible]
[illegible]

[illegible] — [illegible]
Нет равнин
Для стремлений;
Мы [illegible] —

Сквозь препятствия [illegible]
Дальше, глубже [illegible]
Без тревоги и сомнений
К бесконечным [illegible].

Пусть подточут [illegible],
Но стремиться, добиваться,
Жить.

Продолжение этой повести
Пишут огненными словами
В книгу жизни
Юные пролетарии.

КУЗНИЦА ЮНОШЕСКОЙ ПОЭЗИИ.

(ДЕКЛАМАЦИЯ).

Ник. Карпин.

ПЛАМЯ.

[illegible]

[illegible]

[illegible] к [illegible] утру [illegible]
[illegible]
Мы [illegible]
[illegible]

Мы [illegible] яркий [illegible]
Пламя правды [illegible] мир,
То [illegible] сердце [illegible]
Перед нами [illegible]

Разольется то пламя широко
По тем странам, где рабство царит.
Молодежи где светлое око
Видит ложь да тюремный гранит...

Наше пламя им бодрость подбавит.
В сердце новое чувство вдохнет.
Молодежь свои руки расправит
И навек сбросит цепи и гнет.

В. Кириллов.

* * *

Гремят чугунные раскаты.
Гудит набата красный звон:
Мир угнетенья, мир проклятый
[illegible]

И [illegible]
И [illegible] войны:
[illegible]
[illegible] Мировой [illegible].

И близок час, [illegible] —
[illegible] край.
И будет Правды Мир [illegible].
[illegible] работ.

И равноправные народы,
Разрушив сети злобных пут,
Под знамя Братства и Свободы
[illegible] дружно [illegible].

Ив. [illegible]

ЮНАЯ РАТЬ.

На [illegible]
[illegible]
С [illegible]
Мы [illegible].

И [illegible]
Мы в [illegible]
[illegible]
Что горит ново-красным огнем.

Разрушим [illegible].
С [illegible] песней [illegible] груди.
Мы [illegible] теперь [illegible]—
Мира [illegible].

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

Ив. [illegible]

МЫ—ДЕТИ ЗАВОДОВ.

[illegible] работе.
[illegible] рабочих [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]
[illegible]
[illegible]
И [illegible].

Но в юных сердцах нам посеяли зерна
Сильнейших... мятежных, рокочущих сил.
У светло-[illegible] [illegible] серпа
Будем мы [illegible] [illegible] и молить.

Мы вырвали прочно [illegible] цар-[illegible].
И [illegible] [illegible] [illegible].
Мы можем трудиться, дерзать, умирать.
Мы выполним дело свое [illegible].

Мы — дети рабочих, мы — сильные телом
Мы — жаждем грядущего [illegible] дня.
В желании гордом поравняться с [illegible].
Над миром [illegible] [illegible] огне.

Мы — гордость трудящихся, дети свободы
Создания дерзкой прекрасной мечты
Мы — первые весны, мы — пламя свободы
Душистые живой грядущей цветы.

Ан. Кирилов.

НА СМЕНУ.

Мильионы бойцов уложили,
Мы на фронте гражданской войны.
Они честно свободе служили,
Это верные были сыны.

Своей грудью они защищали
Ту страну, где лишь царство труда,
Где они это царство создали
Чтобы рабство стереть навсегда.

Но привыкшие властвовать, править,
Нам по новому жить не дают.
На нас вновь хотят пушки направить,
Вновь наемные полчища шлют.

А ряды же борцов за свободу,
За коммуну, за красный совет,
Перенесши борьбу и невзгоду,
Поредели за эти пять лет.

Молодежь! Молодой пролетарий!
Не за нас-ли боролись они,
Не для нас-ли построить старались
Светлой жизни великие дни?

Да, для нас. Для других поколений
Они шли по тернистым путям.
А [illegible] терпеньем,
Все вперед! Ведь жизнь светлая там

Так вперед-же [illegible] шеренгами
В свои сильные [illegible].
Мы все [illegible]
И до светлого [illegible].

[illegible]

МЫ—МОЛОДЕЖЬ

Мы — те, что бодро [illegible]
Мы — те, в чьих руках судьба [illegible].
Мы — [illegible], мы — [illegible].
Мы — молодежь.

Мы — [illegible]
С [illegible].
Мы — те, [illegible].
Мы — молодежь.

Мы — [illegible].
Мы — [illegible].
Мы — те, кто [illegible] борьбы и порыва.
Мы — молодежь.

Мы — [illegible]
Мы — [illegible]
Мы [illegible]
Мы [illegible]

[illegible]

КРАСНАЯ МОЛОДЕЖЬ.

Мы [illegible]
Мы [illegible]
Тело утомлённое [illegible]
Горе [illegible]
Мы [illegible]
Все мы вдохновлялись [illegible]...
Живо на баррикады! [illegible] на баррикады!
Все на борьбу [illegible]!
Смерть [illegible]
Гусеница [illegible]
Шире [illegible] Красной Молодежи
К счастью [illegible]

[illegible]

ПАМЯТИ ЛИБКНЕХТА.

Мрачно [illegible]
[illegible]
[illegible]... Рукою [illegible]
[illegible]

[illegible]
В сердце [illegible]
[illegible]
[illegible]

[illegible]

[illegible]

МАТРОСАМ

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

[illegible]

Герои, скитальцы морей, альбатросы!
Застольные гости громовых пиров.
Орлиное племя, матросы, матросы,
Вам песня поэта, вам слава веков!

ДЕД И ВНУК.

По дороге из [illegible] в город
Повстречался с внуком дед.
Ты куда это [illegible]?
На собранье в комитет.
Ах ты, дурень! Что ты вздумал?!
Дед на внука закричал.
Или Бога ты не [illegible]?
И от церкви ты отстал!
[illegible]
Будешь мучиться в аду...
[illegible]
[illegible]!..
— Полно, дедушка, ворчать-то.
Мало толку в том [illegible]...
[illegible]
[illegible]
[illegible]
[illegible]
Вы [illegible] ему сами.
[illegible]!
[illegible]
Вот [illegible]:
[illegible]
Мы [illegible].
Нет [illegible] не будет.
Богу больше [illegible]:
[illegible]
Лишь Совет [illegible]!
[illegible] дорогой.
Дед [illegible] внуку:
— Так [illegible]
Будешь мучиться в аду!

Ник. Карякин.

ПРЕЖДЕ И ТЕПЕРЬ.

Ты, сгорбленный с видом усталым
Весь день у станка проводил,
Барчук же, с «фасоном» не малым,
Учиться наукам ходил.

Папаша давно уже понял,
Что значит наука для нас.
В гимназию сына он отдал
Чтоб тот себе знаний припас.

Ведь с знаньем он силу получит
Не только людьми управлять.
Себе он природу приручит,
И будет карман набивать.

А ты, оборватый, чумазый.
Ты должен лишь знать свой станок,
Таких пока нету гимназий
Где-б каждый учился «щенок».

Так было... Забитым и темным
Рабочий свой век коротал.
И юноша рос угнетенным
Но... красный Октябрь тут настал.

Из школ барчуков разогнали,
Ведь власть у «чумазых» теперь,
Все школы для них одних стали
Широко открыта им дверь.

Учись теперь юный рабочий.
Учись-же крестьянин—бедняк,
Лишь с знаньями в жизни гнучей
Пригоден теперь «молодняк».

ТАМ И ЗДЕСЬ*).

Там, далеко, горят кровавые пожары,
Там с запада грозит нам наглый враг. —
А здесь? Здесь «публика» по вечерам шлифует тротуары
И говорит о разных пустяках...

Там стонут под ярмом владык замученные люди
И плачут горестно, купаясь в собственной крови...
А здесь? Здесь шопот страстный... взволнованные груди...
И [illegible] о земной любви...

Там беснабашный пир врагов, от крови пьяных...
Там льется кровь рекой — и не во сне, а наяву...
А здесь? В саду... В лесу... На солнечных полянах —
Пустые пикники и «рандеву»...

Молодежь! Неужто ты не слышишь стон мучений
Далеких матерей, отцов, детей и жен?...
Неужто и *сейчас* ты ищешь развлечений,
Когда наш край врагами окружен?...

Довольно спать! Проснись! Забудь свои веселья!
Момент тебя зовет на поприще труда.
Поверь, пока не бросишь ты преступного безделья —
Нас будет угнетать разруха и нужда.

Стряхни-ж с себя покров апатии гуманной,
И правду наших дней запомни, молодежь, —
Что только лишь в труде, в работе неустанной
Ты счастье полное найдешь!

---

*) Это стихотворение ярко рисует отношение [illegible] молодежи к важной борьбе пролетариата.

Уолт Уитмен.

МЫ ВЕСТНИКИ НОВЫХ ВРЕМЕН.

По скорбным, [illegible] отставшим бойцам,
Уставшим от долгих потерь,
Хотим мы отважным и юным сердцам
Пропеть свою песню теперь.

Пусть мертвые сердцем приносят любовь
И плачут у старых могил.
Мы живы: кипит наша алая кровь
Огнем неистраченных сил!

Священную память погибших в бою
Всегда мы сумеем хранить:
Мы [illegible] всю силу, всю душу свою
На тот же алтарь возложить.

Чьи смутные взоры потухли в земле?
Пытливо глядим мы вперед.
Упрямо стремимся увидеть во мгле
Зари отдаленной восход.

Несись, наша песня, как радости клик,
За дальний безвестный предел.
Да здравствует юность, могучий родник
Великих стремлений и дел!

Несись, наша песня, взлети до небес,
Как сокол свободный от пут!
Да здравствует гений всемирных чудес,
Могучий и творческий труд!

Несись, наша песня, опять и опять
Греми над землей, как труба!
Да здравствует живая всесильная мать,
Владычица мира—борьба!

От края до края родимой страны
Друг другу несем мы привет...
Мы—потоки ключей, зеленой весны,
Идущей за нами во-след.

Пусть скован стужей покров земли
И каждый шумливый поток,
И смерти метели, и снег на поля
Серебряным саваном лег.

Уже прокатился громовый удар
С неведомых горных высот,
И дрогнула сила безжизненных чар,
Тяжелый подорвется гнет.

И ветер при утре повеял теплей:
Во мраке на каждом шагу
Незримые струйки оживших ключей
Уж роются тайно в снегу.

Да сгинется сумрак, да здравствует свет!
Мы—вестники новых времен!
Весна молодая идет нам во след
Под сенью несчетных знамен.

В. Князев.

ПЕСНЯ ИЗ ПОДВАЛА.

Все слышнее, все слышнее
Топот ног...
О, приди ко мне скорее,
Мой сынок!
Утомленный злой работой,
В тоске,
Я сижу, томим заботой
О куске.

Там, над нами... там над нами,—
Детский бал,
Залит яркими огнями
Шумный зал:
Пышет жар от детских щечек.
Блещет газ...
Только... праздник тот, сыночек,—
Не для нас.

Все наглее и наглее
Топот ног...
Где же ты?.. Иди скорее,
Мой сынок!

Посажу тебя я рядом
На скамью.
Буду жечь горящим взглядом
Грудь твою.

О, как впала, потемнела
Эта грудь!
Только кости... Где же тело?
Что за жуть!
Вечно биться, и томиться,
И страдать,
И... в подвале, как мокрица,
Погибать!

Чем он хуже этой братьи,
Что вверху—
Щеголяет в пышном платье
И в пуху?
Эти глазки голубые
Не ярки?
Эти кудри золотые
Не мягки?
В этом маленьком сердечке
Нет огня,
Что, как бабочку на свечке,
Сжег меня?

Стены вокруг, стены вокруг.—
Погляди!
Это значит... это значит,
Что в груди—
Как в метеле: [illegible]
Не пройдет—
Задохнется [illegible]
И умрет!

[illegible]

М А Т Ь

На фабрике душной, где в зале просторной
Невнятно рокочет машинный [illegible],
Где тысячи женщин страдают упорно
Под дикую песню колес.

Пятнадцать уж лет, как в заботах о хлебе
Заводит она свой прядильный станок,
Покорно неся бесталанный свой жребий
Судьбе непосильный оброк.

Бывают минуты, прекрасные руки
Заметно слабеют, —усталость взяла, —
Но дух торжествует, и отблески муки
Мгновенно сбегают с чела.

И дышет фигура отвагой могучей
Вперед, на работу, смелей вперед
А, если внезапно недуг [illegible]
К постели ее прикует!

Но нет, невозможно, хворать [illegible] —
Растет у работницы маленький сын—
Единая гордость неволи голодной,
Грядущему годов исполин.

Он грамоту знает, он крепок в рассудке.
На смелые мысли недетски горазд —
И капля за каплей он, для малютки,
Последние силы отдаст.

Когда-ж до конечной в труде неустанном
Наступит бессилье старческих лет,
Отдаст и [illegible]
Как [illegible]

И сын [illegible] глубоко
Он [illegible] урок
И чорных кудрей [illegible]
Украсит [illegible].

В полечных полях [illegible] ночи
Сидит [illegible]
Пусть духом глубоко [illegible] очи,
Таинственным светом блестя.

И в мускулах крепких и в груди здоровой
И биении сердца и трепетных жил
Ты — [illegible], но духом суровый
Хранит непреклонный пыл.

Родился [illegible] под [illegible] грозою
И будущность сына без страха падет
Ее ты проводишь горячей слезою
И кинешься в битву вперед.

И будешь ты биться пером и примером
За дальнего счастья грядущие дни.
И миру укажешь ты в сумраке сером
Зари нарожденной огни.

Так будь же ты честен, велик, непреклонен!
И помни, кем вскормлен, чьей жертвою рос
Чей полдень туманный забит и схоронен—
Под дикую песню колес.

ПЕСНИ МОЛОДОЙ ГВАРДИИ.

* *
*

Я подслушал эти песни [illegible] рабочих [illegible]
В гулком [illegible], [illegible] [illegible].
Я подслушал эти песни [illegible], [illegible]
В шуме фабрик, в грохоте [illegible] [illegible]
Я смотрел, как эти [illegible] [illegible] сила росла.
И в том же [illegible] [illegible] [illegible]:
Я узнал, что [illegible] [illegible] [illegible].
В этой [illegible] [illegible] [illegible].
Чем сильнее [illegible] будет [illegible], [illegible].
Тем скорее будет [illegible] [illegible] [illegible].
Чем просторней будут [illegible] [illegible], [illegible].
Тем [illegible] и ярче [illegible] [illegible] дни.
Эти песни [illegible] [illegible] голосов.
Миллионы [illegible], [illegible], [illegible] [illegible].
Эти песни—зов могучий к [illegible] [illegible] в борьбе.
Это—вызов непреклонный злобной, [illegible] судьбе!

Интернационал молодежи.

Вставайте юношей мятежных
Об'единенные ряды
Берите в руки с звонкой песней
Кроваво—красные стяги!
Спешите стройными рядами
В последний и кровавый бой;
Погибнем с нашими отцами
Иль завоюем мир иной!

Припев.

Это есть наш последний
И решительный бой,
С Интернационалом
Воспрянет род людской.

Никто не даст нам избавленья
Ни бог, ни царь, и ни герой.
Добьемся мы освобожденья
Своею юною рукой.
Чтоб закрепить завоеванья
Добытые борьбой отцов,
Кровавым флагом развевая.
На бой, на бой, спешим на бой!

Припев.

Весь гордый, юный мир мятежный
Восторгом пламенным гори,
Всех стран—одной мечтой безбрежной
Всю молодежь об'едини,
Лишь мы в порыве беззаветном,
Все дети горя и нужды
Построить новый мир сумеем
Осуществить отцов мечты!

Припев.

Молодая гвардия.

Вперед, заре навстречу,
Товарищи в борьбе!
Штыками и картечью
Проложим путь себе.
Смелей вперед и тверже шаг
И выше юношеский стяг!
Мы—молодая гвардия 2 раза.
Рабочих и крестьян.

Ведь сами испытали
Мы подневольный труд.
Мы юности не знали
В тенетах рабских пут.
На душах лень почила —
Наследье непроглядной тьмы.
Мы—молодая гвардия 2 раза.
Рабочих и крестьян.

И, обливаясь потом.
У горнов став своих.
Творили мы работой
Богатство для других.
Но этот труд, в конце-концов.
Из нас же выковал борцов
И молодую гвардию 2 раза.
Рабочих и крестьян.

Мы поднимаем знамя.
Товарищи, сюда!
Идите строить с нами
Республику Труда.
Чтоб Труд владыкой мира стал
И всех в одну семью спаял —
В бой, молодая гвардия 2 раза.
Рабочих и крестьян.

Юношеская марсельеза.

([illegible] старого мира).

Полной радости в юные дни у нас
Мы от горя, насилий и бед.
Нашей юности мы не узнали.
Не видали мы солнечный свет.
Угнетали прекрасные сады
Малолетних тяжелым трудом:
Но за то им не будет пощады
Мы бесследно их выжжем огнем.

Припев.

Грозою для старого юность идет.
Как свет после тягостной ночи.
Мы—дети крестьян и рабочих.
Вперед, вперед, вперед, вперед, вперед!

Яркий светоч великой Коммуны
Вспыхнул в мире, зажженный Трудом.
Это пламя в сердцах у юных
Разлилось неудержимым огнем.
Нашим старшим великим героям.
Всем, кто миру несет этот свет.
Всем, кто жизнь пролетарскую строит—
Бросит молодежь братский привет.

Припев.

И когда мы вознесем вместе с ними
Песни Счастья торжественный звук.
Знамя красное гордо мы вынесем
Из усталых, натруженных рук.
Но пока, без сомнений и дрожи,
Доведем мы борьбу до конца!
Эй дорогу и жизнь молодежи,
Наполнявшей на юных сердцах:

Припев.

Под красное знамя союза.

(На мотив: «Смело, товарищи, в ногу»).

Идите в союз, молодежь,
Коммуны великой борцы.—
Смело, без сомненья и дрожи,
Свободного мира творцы!

Вперед — на борьбу с капиталом,
Отметим за пролитую кровь.—
Тогда засияет кораллом
Свободного мира любовь.

Разрушим дворян диктатуру
Своей пролетарской рукой
И мировую строить культуру
Начнем мы в стране трудовой.

Рассеются сумраки ночи
В свободной стране навсегда.—
Спешите же, дети рабочих,
Под красное знамя труда!

Вставайте-ж под знамя союза
Заря новой жизни взошла
И пахарь, и синяя блуза—
Творить и учиться пора.

На подмогу.

(На мотив: «Из-за острова на встречу»).

Чтоб разбить стальную стену
Мира скорби и тоски.
Приходите нам на смену 2 раза.
Молодые смельчаки.

С новым маршем,
Дружно, в ногу
Братьям старшим
На подмогу!

Все в страде боевой!
Все в последний жаркий бой!
Верьте, братья молодые, 2 раза.
Смерть врага не за горой.

С новым маршем,
Дружно, в ногу
Братьям старшим
На подмогу!

Мироедов песня спета—
Не поможет острый нож,
Под знаменами Совета 2 раза.
Шествуй смело молодежь!

С новым маршем,
Дружно, в ногу
Братьям старшим
На подмогу!

Кузнецы.

Мы—кузнецы, и дух наш молод,
Куем грядущего ключи,
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.

Мы—кузнецы страны рабочей,
Мы только лучшего хотим,
И ведь не даром мы тратим силы,
Не даром молотом стучим.

Ведь после каждого удара
Редеет мрак, слабеет гнет,
И в городах земного шара
Рабочий люд встает, встает.

Куем мы счастие народу,
Мы вольный труд ему куем,
И за желанную свободу
Мы все боролись и умрем.

Мы—кузнецы, и дух наш молод,
Куем грядущего ключи,
Вздымайся выше, наш тяжкий молот,
В стальную грудь сильней стучи.

Песня девушки-швеи.

(На мотив «Ах ты доля»).

Ныние праздник за стеною,
Разговор беспечный смолк.
Я одна с моей иглою
Вышиваю красный шелк.

Все ушли мои подруги
На веселый свет взглянуть,
Скоротать свои досуги,
Забавляясь как-нибудь.

Мне веселости не надо;
Что мне шум и что мне свет?
В праздник вся моя отрада,
Чтоб исполнить свой обет.

Все, что юность мне сулила,
Все, чем жизнь меня влекла,
Все судьба моя разбила,
Все коварно отняла.

Шей шелковые одежды
Для изнеженных господ,
Отвергай свои надежды,
Проклинай их злую ложь.

И в покорности я никла,
Трепетала словно лань,
Но зато шептать привыкла
Слово гордое: «Восстань!»

Белым шелком красный мечу
И сама я в грозный бой
Знамя вынесу навстречу
Силе вражеской и злой!

Красное знамя.

Слезами залит мир безбрежный,
Вся наша жизнь—тяжелый труд,
Но день настанет неизбежный—
Неумолимо грозный суд! (2 раза.)

Лейся вдаль, наш напев, мчись кругом!..
Над миром наше знамя реет
И несет клич борьбы, мести гром,
Семя грядущего сеет.
Оно горит и ярко рдеет:
То наша кровь горит огнем,
То кровь работников на нем!

Бездушный гнет, тупой, холодный
Готов погибнуть, наконец.
Нам будет счастьем труд свободный,
И братство даст ему венец. (2 раза.)

Лейся вдаль, наш напев!.. и т. д.

Вперед, друзья, идем все вместе,
Рука с рукой и мысль одна!
Кто скажет буре: «Стой на месте!»
Чья власть на свете так сильна? (2 раза.)

Лейся вдаль, наш напев!.. и т. д.

Долой тиранов! Прочь оковы!
Не нужно старых рабских пут!
Мы путь земле укажем новый.
Владыкой мира будет труд. (2 раза.)

Лейся вдаль, наш напев!.. и т. д.

СОДЕРЖАНИЕ.

Стр.

Комсомольские вечера. (Вместо предисловия) 3
Як. Окунев. Грань. (Повесть). 5
Ив. Душенков.—Перелом (Новогодний рассказ) 34
А. Безыменский.—Юный пролетарий. (Повесть в стихах) 40

Кузница юношеской поэзии. (Декламация).

Ник. Карякин. -Пламя 57
В Кириллов.—Гремят мятежные раскаты 58
Ник. Карякин.—Юная рать . . . . —
Ив. Крышкевич.—Мы—дети заводов. 59
Ник. Карякин.—На смену 60
О. Скар.—Мы—молодежь 61
Герасим Фейгин. Красная молодежь 62
Ник. Карякин.—Памяти Либкнехта . . . . —
В. Кириллов.—Матросам 63
Дед и внук 64
Ник. Карякин.— Прежде и теперь 65
Там и здесь 66
Уот Уитмен. Мы вестники новых времен 67
В. Князев.—Песня из подвала 68
Ада Негри.—Мать 70

Песни молодой гвардии.

Я подслушал эти песни 75
Интернационал молодежи 76
Молодая гвардия 77
Юношеская марсельеза 78
Под красное знамя союза 79
На подмогу . . . . —
Кузнецы 80
Песня девушки-швеи 81
Красное знамя. 82

[library stamp]

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

— НА ГАЗЕТУ —

РАБОЧЕ-КРЕСТЬЯНСКОЙ МОЛОДЕЖИ

„Юный Труженик"

на ЯНВАРЬ месяц 1923 года.

ПОДПИСНАЯ ПЛАТА

НА ОДИН МЕСЯЦ (за четыре номера)

рублей 70 рублей

(образца 1922 года).

В РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ

КАЖДЫЙ НОМЕР СТОИТ

20 рублей.

ПОДПИСКА ПРИНИМАЕТСЯ В РЕДАКЦИИ

„ЮНОГО ТРУЖЕНИКА"

Б. Никольская гостиница,
комната № 37.

Обязанность молодежи **ПОДПИСАТЬСЯ НА СВОЮ ГАЗЕТУ,** чем поддержать ее существование.

КАЖДОМУ КОМСОМОЛЬЦУ И КАЖДОМУ РАБОЧЕМУ И КРЕСТЬЯНИНУ.

Много интересного и полезного для общества из жизни Комсомола и из жизни молодежи **пропадает** так—не освещенным и не представленным общественному мнению лишь потому что никто **не старается** об этом **написать в газету**.

Обязанность каждого комсомольца и **сознательного** юноши **писать** в свою губернскую газету **„Юный Труженик“** о всем, что может быть интересным для молодежи губернии.

Лишь тогда и **будет интересна наша газета**, когда в ней **будет освещаться жизнь молодежи каждого уголка.**

Редакция „Юного Труженика“ принимает все, что присылается и помещает на его страницы.

Пишите же и присылайте к нам по следующему адресу:

ТАМБОВ—Губком Р. К. С. М. комн. **№ 38** в редакцию **„Юного Труженика“**.

Просьба ко всем желающим сотрудничать, рукописи присылать написанными **разборчиво теми** и только **на одной стороне листа.**

Желательно печатать на машинке.